

A movie poster for 'The Seventh Soul' (Седьмая душа). The scene is set in a dark, snowy forest at night. In the center, a man in a heavy, patterned winter coat stands with his back to the viewer, holding a large, round, decorated drum. To his right, a loon is partially submerged in a stream. The background features two tall, jagged rock pillars covered in ancient, glowing white and red symbols and drawings, including a bird, a bear, and a deer. A large, full moon hangs in the sky, with a dark bird silhouette flying across it. The aurora borealis is visible in the upper corners. The title 'СЕДЬМАЯ ДУША' is written in large, golden, textured letters across the middle of the image.

СЕДЬМАЯ ДУША

АРТЁМ ПОНАСЕНКО

Артем Понасенко

СЕДЬМАЯ ДУША

<https://litres.ru/74079888>

SelfPub; 2026

Аннотация

Ни один человек не способен объяснить, почему одни легенды переживают тысячелетия, а другие исчезают бесследно. Генетик Тимофей Собянин был уверен, что древние мифы — всего лишь часть прошлого, пока не обнаружил в собственной крови ключ к миру, существующему за пределами человеческого понимания. Теперь за ним охотятся те, кто мечтает превратить силу семи душ в оружие, а путь к спасению лежит через забытые шаманские ритуалы, Писаный камень и загадочную дверь между мирами. Но самая страшная тайна заключается в том, что Торум всё это время не был закрыт — он лишь ждал того, кто осмелится посмотреть сквозь него. И если дверь откроется окончательно, изменится не только судьба Тимофея, но и само представление человечества о жизни, памяти и душе.

Артем Понасенко

СЕДЬМАЯ ДУША

Артем Понасенко

Роман «Седьмая душа»

Глава 1. Человек, который не спит

Ночь пришла в Ханты-Мансийск не с запада, как положено, а из земли.

Тимофей Собянин заметил это около часа ночи, когда оторвал глаза от монитора и выглянул в окно. За стеклом стояла непроглядная чернота — не такая, какая бывает в городе с уличными фонарями и редкими окнами соседних многоэтажек. А настоящая, таежная, которая может опуститься только на маленький поселок, зажатый между двух седых протоков Иртыша. Фонари горели. Просто их свет не мог пробить эту тьму — она была слишком плотной, слишком живой, словно кто-то накрыл город мехом вывернутой наружу шкуры.

Тимофей поежился и вернулся к работе.

Монитор светился мягким голубоватым светом — единственным островком тепла в промерзшей однокомнатной квартире на улице Гагарина, шестьдесят лет назад названной так в честь человека, который полетел выше облаков и ничего там не заметил. На экране бежали строки кода, вре-

мя от времени сменяясь изображениями — берестяные грамоты, фотографии наскальных рисунков, схемы орнаментов, оцифрованные из этнографических музеев Томска и Екатеринбурга. «Угра-13», нейросеть, которую Тимофей тренировал последние восемь месяцев, работала с новой выборкой.

Она тихо гудела — не вентиляторами процессора, а своим внутренним, алгоритмическим гулом, который Тимофей давно научился различать ухом, как мать различает плач ребенка. Сейчас нейросеть была спокойна. Она жевала тысячелетние узоры, переваривала их в математические векторы, искала закономерности там, где никто не искал.

Тимофей зевнул и потянулся к кружке с остывшим чаем.

Ему было двадцать девять лет. Кандидат биологических наук, специалист по палеогенетике, старший научный сотрудник Югорского университета — звучало солидно, но на деле означало, что он сидит в этой самой квартире по ночам и пытается доказать недоказуемое. Что древние народы Севера зашифровали в своих орнаментах нечто большее, чем любовь к симметрии. Что берестяные письма — это не примитивное искусство, а бинарный код, записанный за тысячи лет до первых компьютеров.

Коллеги посмеивались. Руководитель лаборатории, профессор Валентин Сергеевич Марков, человек с бровями как кусты багульника и вечной кислой миной, называл это «молодым безумием» и предлагал сосредоточиться на «настоящей генетике» — выделении ДНК из древних костей, срав-

нении гаплогрупп, поиске мутаций. Этим Тимофей занимался и днем, в университетской лаборатории, с ее запахом формальдегида и вечным скрипом центрифуги. А по ночам — был свободен.

— Ну давай, — прошептал он нейросети. — Удиви меня.

«Угра-13» молчала. Она была упрямой девочкой — Тимофей почему-то всегда думал о ней в женском роде, хотя никакой антропоморфизации не было и в помине. Просто она напоминала ему кого-то. Не мать — мать он почти не помнил, она исчезла, когда ему было два года, оставив после себя только папку с фотографиями и странную вышитую пеленку, которую Тимофей хранил в шкафу, сам не зная зачем. Кого-то другого. Может быть, ту девочку с черно-белой карточки, которую он однажды видел в архиве, а потом не мог забыть.

Тимофей тряхнул головой, отгоняя лишние мысли. Спать хотелось зверски. За окном по-прежнему стояла черная, густая тьма, и в ней, казалось, что-то двигалось — неспешно, тяжело, как медведь, который вышел из берлоги в неправильное время.

Он встал, прошелся по комнате. Три шага от стола до дивана, три обратно. Квартира была маленькой, почти игрушечной, с низким потолком и батареей, которая грела ровно настолько, чтобы не замерзнуть насмерть. Стены украшали дешевые постеры с графиками и картами Западной Сибири — желто-зеленое пятно на белом фоне, похожее на раздав-

ленное насекомое. На подоконнике сохла горсть кедровых орехов — Тимофей привез их из экспедиции на Верхнюю Сосьву, где они с Марковым брали образцы торфа из слоя эпохи неолита.

Орехи пахли детством. Смолой, тайгой, костром.

Он сел обратно, наклонился к монитору, проверил лог нейросети. Ничего нового. Последние четыре часа «Угра-13» анализировала берестяную грамоту № 147 из коллекции Тобольского музея — длинную полосу бересты с выдавленным орнаментом, который специалисты классифицировали как «меандровый узор с зооморфными элементами». Тимофею этот узор казался слишком сложным для декора, слишком математичным. Он напоминал не рисунок, а запись. Ритмическую. Почти музыкальную.

Он закрыл глаза.

В голове зашумело. Сначала обычной усталостью — тяжелой, давящей, когда кажется, что мозг превратился в мокрую губку. Потом — другим шумом. Низким, гудящим, похожим на звук большого бубна, только в сотни раз медленнее. Тимофей знал этот гул. Он приходил к нему раз в месяц-два, всегда перед приступом. Врачи называли это «эпилепсией височной доли с аурой сложного типа». Тимофей называл это — гостьей.

Он открыл глаза и в первый момент не понял, что видит. Стена напротив монитора была покрыта узорами.

Нет, не бумажными, не нарисованными. Узоры струились

по обоям, как вода по стеклу, складываясь в знаки, которые Тимофей никогда раньше не видел, но почему-то узнавал. Это были не мансийские орнаменты, не хантыйские, не те, что он изучал годами. Это было что-то древнее. Гораздо древнее. Язык, который не писали на бересте, потому что его писали на чем-то другом — на костях? на льду? на самом воздухе?

— Нет, — сказал Тимофей вслух. — Только не сейчас.

Он сунул руку в ящик стола, нашарил блистер с таблетками — фенитоин, сто миллиграмм, белые кругляши с горьким вкусом. Вытряхнул одну, проглотил без воды, зажмурился. Гул не исчез. Он стал громче.

А потом сквозь стену пролетела гагара.

Тимофей видел ее отчетливо — каждое перо, каждый изгиб длинной шеи, даже блеск на черных, как ночь, глазах. Она была не настоящей. Или слишком настоящей для того, что может существовать в однокомнатной квартире на улице Гагарина. Птица вынырнула из узора на стене, проплыла через комнату, задела крылом настольную лампу — лампа не шелохнулась, потому что крыло было из другого вещества, не из плоти, а из сжатого времени — и скрылась в мониторе, расплескав по экрану чернильную рябь.

— Это сон, — прошептал Тимофей. — Это не эпилепсия, это сон. Я сплю и вижу сон.

Но монитор не гас. И рябь не исчезала.

Нейросеть загудела по-новому — тревожно, на высокой

ноте, какую Тимофей слышал только однажды, когда алгоритм наткнулся на необъяснимую аномалию в данных. «Уг-ра-13» выводила на экран не графики и не картинки, а чистый текст — строки, складывающиеся в предложения на русском, хотя Тимофей не давал ей команды на перевод.

Он прочитал первую фразу и похолодел.

«Ты — берестяной лист. Тебя свернут».

Строчки бежали одна за другой, складываясь в странное, нелепое стихотворение. Оно было на мансийском? на русском? на языке, которого не существует? Тимофей не мог разобрать. В глазах двоилось, троилось, буквы плясали как мошкара над болотом.

Гул превратился в голос.

Нет, не голос — многоголосие. Сотни людей говорили одновременно, с разных сторон, с разной громкостью, но каждое слово было четким, как удар по бубну.

«Вспомни. Вспомни. Вспомни.»

Тимофей вскочил, опрокинул кружку. Холодный чай растекался по столу, капнул на клавиатуру. Он не обратил внимания. Он смотрел на стену, где узоры еще не исчезли, и пытался понять, что его так напугало. Не сама гагара — с ней он как-то свыкся за годы приступов. Не голоса — они тоже были знакомыми. А то, что он больше не чувствовал своего тела.

Он стоял — и в то же время не стоял. Он дышал, но легкие не расширялись. Он сжимал пальцами край стола, но не ощу-

щал ни дерева, ни холодного металла клавиатуры. Только узоры. Тысячи узоров, текущих сквозь него, как вода сквозь решето.

— Хватит, — выдавил он.

Ничего не хватило.

Гул стих сам собой, как будто кто-то выключил звук на пульте. Гагара исчезла. Узоры на стене поблекли, превратились в обычные разводы старой краски. Монитор погас, хотя с батареей ноутбука все было в порядке.

Тимофей стоял, тяжело дыша, и считал до десяти.

Раз. Два. Три.

Он жив. Приступ прошел. Легкие снова принадлежат ему, сердце бьется в грудной клетке, а не в каком-то другом измерении.

Четыре. Пять. Шесть.

Он поднял кружку, поставил обратно на стол. За окном медленно светало — тающая чернота превращалась в серый, промозглый рассвет, какой бывает в Югре в конце осени, когда небо похоже на старый ватник, а снег еще не выпал, но уже обещал.

Тимофей выдохнул и посмотрел на экран ноутбука.

Тот включился сам.

И на рабочем столе, среди папок с научными статьями и иконок статистических программ, лежал одинокий файл. Неизвестный. Неподписанный. Тимофей не создавал его. Нейросеть не могла его создать — у нее не было прав на за-

пись вне виртуальной среды.

Он щелкнул по файлу.

Открылся скан старой бумаги — выцветшей, с желтыми пятнами по краям, с печатью, которую Тимофей видел только в кино про шпионов. Печать была круглой, с серпом и молотом в центре и буквами по кругу: «СССР. КГБ. Секретно. Хранить вечно».

Вверху листа стоял гриф: «Объект Сосьва. Личное дело № 7».

Ниже — фотография. Черно-белая, нерезкая, снятая, кажется, дешевым «Зенитом» в плохом освещении. На снимке была женщина. Молодая, лет двадцати пяти, с прямыми темными волосами, собранными в тугий узел на затылке, и странным выражением лица — не то усталым, не то испуганным, не то бесконечно усталым от бесконечного страха. Она смотрела прямо в объектив, и Тимофей понял, что знает эти глаза. Знал так хорошо, как будто видел их каждое утро в зеркале.

Это была его мать.

Ирина Собянина. Пропала без вести в 1999 году. Объявлена умершей в 2005-м.

Тимофей поднес лицо к монитору, почти коснулся носом экрана. Под фотографией шла короткая подпись, сделанная стальной чернильной ручкой: «Лаборант-генетик. Допуск к работам 3-й степени. Выбыла на объект 12.08.1963. Дата возвращения: 23.07.1998. Причина выбытия — эвакуация».

Тимофей перечитал даты трижды.

Двенадцатое августа тысяча девятьсот шестьдесят третьего года. Двадцать третье июля тысяча девятьсот девяносто восьмого.

Тридцать пять лет между двумя датами. И ни одного дня между рождением Тимофея и исчезновением матери — потому что он родился в девяносто седьмом, а мать вернулась с объекта девяносто восьмом, прожила с ним чуть больше года и снова пропала, на этот раз навсегда.

Он откинулся на спинку стула, и стул жалобно скрипнул. В голове шумело, но не тем, мистическим гулом, а обычным, человеческим — паника мешалась с любопытством, ужас с холодным исследовательским интересом. Генетик в нем проснулся раньше, чем сын.

«Выбыла на объект 12.08.1963», — прочитал он снова. — «Дата возвращения: 23.07.1998».

Если бы это было правдой — если бы его мать действительно исчезла в шестьдесят третьем и появилась через тридцать пять лет, не постарев ни на день (на фотографии ей было двадцать пять, Тимофей помнил ее именно такой, не старше) — то объяснений могло быть только два. Либо архив КГБ врал, либо...

Либо она уходила в то место, где время течет иначе.

Место, о котором говорят старики-манси в далеких стойбищах. Место, где живут менквы — духи-великаны, хранители тайги. Место, которое в фольклоре называется Торум.

Не рай и не ад, а что-то третье. Буфер. Коридор между мирами.

Тимофей никогда не верил в эти сказки. Он вырос в городе, в интернате для детей коренных народов, где учили, что шаманы — это мракобесие, а менквы — пережиток языческого прошлого. Он защитил диссертацию по генетике, а не по этнографии. И если его мать говорила ему что-то перед тем, как исчезнуть навсегда, то говорила она не о духах. Она говорила об орнаментах.

«Запомни этот узор, Тима. Он важнее, чем ты думаешь».

Он встал, прошел к шкафу, открыл верхнюю полку. За стопкой старых журналов и парой безнадежно устаревших учебников лежала свернутая в рулон ткань. Пеленка. Та самая, которую он хранил двадцать восемь лет, не зная зачем. Не выбросил, когда переезжал, не отдал в детский дом, когда его забирали из интерната. Хранил.

Он развернул ткань на столе, придавив края кружкой и солонкой.

Орнамент был простым, даже примитивным на первый взгляд — повторяющиеся ромбы, вытянутые в полосу, с треугольными выступами по краям. Такие узоры Тимофей видел в этнографических альбомах сотни раз. «Вариация на тему оленьих рогов», писали исследователи. «Символ плодородия. Оберег».

Но сейчас, после ночного приступа, после гагары и голов, после странного файла на рабочем столе, он смотрел на

орнамент иначе. Он видел не ромбы. Он видел ноты. Или буквы. Или команды машинного кода, записанные на языке, который был старше всех человеческих языков.

Он потянулся к ноутбуку, открыл нейросеть, навел камеру телефона на пленку.

— «Угра-13», — сказал он. — Сравни этот узор с берестяной грамотой № 147.

Нейросеть загудела. На этот раз — спокойно, деловито, как хорошая секретарша, получившая понятное задание. Секунда. Другая. Третья.

«Совпадение по структуре — 94,7%, — вывел алгоритм. — Обнаружена повторяющаяся последовательность из семи элементов. Предположительно — код для подавления эпилептиформной активности у носителей гаплогруппы N1c1».

Тимофей замер.

Он специалист по палеогенетике. Он знал, что такое гаплогруппа N1c1. Это финно-угорский маркер. Маркер, который есть у венгров, у хантов, у эстонцев. И у него самого. Тимофей сдавал ДНК-тест два года назад, просто из любопытства. Результат был четким: N1c1. Отец — манси, сказали ему тогда. По материнской линии — русская примесь, но отец — чистая Северная Азия.

Орнамент на его пленке был генным ключом. Ключом именно к его генам.

— Это невозможно, — прошептал он в пустоту.

В пустоте никто не ответил. Но в тишине нарастал новый

звук — не гул, а шелест. Тимофей поднял голову и увидел, что берестяная грамота № 147 на экране меняется. Символы двигались, перестраивались, складывались в новые комбинации. Нейросеть не редактировала их — она их расшифровывала.

«Перевод на русский язык. Вероятность 67%. Текст фрагментарен».

Тимофей читал, не веря своим глазам.

«Когда седьмая нота зазвучит... мир между мирами раскроется... ключ в крови, замок в кости... помни: у мужчины пять душ, у женщины четыре... седьмая — запретная, седьмая — дверь... не открывай, если не готов потерять...»

Дальше шел набор символов, которые нейросеть не смогла идентифицировать. Не берестяные, не наскальные, не похожие ни на одну известную систему письма. Они изгибались, как струны, сплетались, как корни, и на секунду Тимофею показалось, что они светятся — слабым, зеленоватым, болотным светом.

Он закрыл ноутбук. Отодвинулся от стола. Встал. Прошелся по комнате — три шага до дивана, три обратно.

Мысли скакали, как бешеные зайцы. КГБ. Мать. Шестьдесят третий год. Девяносто восьмой. Объект Сосьва. Семь душ. Генетический ключ. Орнамент на пеленке.

«Ты — берестяной лист. Тебя свернут».

Он не знал, что это значит. Но он знал, что теперь не сможет остановиться. Исследовательский зуд, тот самый, кото-

рый заставил его пойти в генетику, а не в более прибыльную и спокойную профессию, вгрызся в позвоночник и не отпускал. Он должен был узнать правду. О матери. Об орнаменте. О гагаре, которая пролетела сквозь его стену и оставила на душе мокрый след, похожий на коготь.

За окном окончательно рассвело. Серый утренний свет залил комнату, превратив черные тени в серые, а серые — в знакомые очертания шкафа, стола, дивана. Мир вернулся в обычное, скучное, не-мистическое состояние.

Тимофей посмотрел на часы. Половина седьмого. Через два часа ему нужно быть в университете, на расшифровке образцов из Сосьвинского торфяника. Но ни в какой университет он сегодня не поедет. Сегодня он закроется в этой комнате и будет смотреть архивные файлы, пока глаза не начнут кровоточить.

Он открыл ноутбук. Файл с личным делом матери по-прежнему был на рабочем столе. Тимофей открыл его снова, перечитал каждую строчку, взгляделся в каждую пометку. Среди казенных фраз и сухих дат он нашел еще одну запись, на которую не обратил внимания в первый раз.

Ручкой, той же стальной, в левом нижнем углу было написано:

«Субъект Айвика. Контакт установлен. Рекомендуются мониторинг родственников по мужской линии. Особо отметить: сын, 1997 г.р., потенциальный резонатор».

Подпись неразборчивая. Либо «Берг», либо «Берег». Вме-

сте с подписью — маленькая схема. Тимофей узнал ее мгновенно. Это был тот же узор, что на пленке. Ромбы, треугольники, семь элементов.

У него зазвонил телефон.

Номер был незнакомый, но не скрытый — мобильный, местный, код Ханты-Мансийска. Тимофей не хотел брать трубку. Не сейчас. Но палец нажал кнопку приема сам, сработала привычка — научный сотрудник должен отвечать на звонки, вдруг из лаборатории.

— Собянин слушает, — сказал он осипшим голосом.

— Тимофей Ильич? — Женский голос, молодой, с едва уловимым акцентом — не нерусским, нет, а скорее северным, тем, где гласные тянутся чуть дольше, а согласные смягчаются на концах слов. — Меня зовут Анна. Анна Шайтанова. Я фольклористка. Мы не знакомы, но мне нужно с вами встретиться. Сегодня. Прямо сейчас.

— По какому вопросу? — Тимофей старался, чтобы голос звучал ровно, но где-то на дне горла зарождался тот самый, знакомый гул.

— Вы видели ночью гагару, — сказала Анна. Не спросила. Утвердила. — И файл на рабочем столе. О вашей матери.

Тимофей молчал. Он смотрел на пленку, развернутую на столе, на орнамент, который минуту назад нейросеть назвала генным ключом, и чувствовал, как реальность уходит из-под ног. Потому что женщина на другом конце провода не могла знать про гагару. Не могла знать про файл. Не могла.

— Вы кто? — выдавил он.

— Та, кто может объяснить, почему у вас эпилепсия, которую не лечат таблетки, — ответила Анна. — И почему ваша мать вышила на вашей пеленке карту в мир, которого не должно существовать.

— Откуда вы знаете про пеленку?

— Встретимся — расскажу. Через час. Кофейня «Обь» на набережной. Приходите.

— Я не пью кофе, — сказал Тимофей совершенно идиотскую фразу, потому что его мозг отказался обрабатывать происходящее в нормальном режиме и включил режим бытового автоматизма.

— Пейте чай, — ответила Анна и отключилась.

Тимофей посмотрел на телефон. Экран погас. Он снова включил его, проверил журнал звонков — номер был, но городской справочник не выдавал никаких данных. Абонент не найден.

Гул в голове усилился.

Тимофей закрыл ноутбук, аккуратно свернул пеленку, спрятал обратно в шкаф. Надел свитер, джинсы, ботинки. Кинул в карман паспорт и ключи. Выключил свет. Выходя, задержался на пороге — оглянулся на комнату, на монитор ноутбука, который в темноте светился тревожным белым пятном, хотя крышка была опущена.

«Угра-13» все еще работала.

Он вышел. Захлопнул дверь.

На лестнице пахло капустой и старыми носками — обычный запах обычной девятиэтажки в обычном городе. Лифт не работал, как всегда. Тимофей спустился пешком, вышел на улицу, вдохнул сырой, щиплющий ноздри воздух.

Рассвет окончательно победил ночь. Небо было мутным, низким, но уже не черным. Где-то за многоэтажками угадывался Иртыш — широкая, серая лента, которая зимой замерзает, а летом пахнет рыбой и илом. Сейчас была осень. Иртыш пах смертью — медленной, тяжелой, как умирание большого животного.

Тимофей поежился и пошел к набережной.

Кофейня «Обь» располагалась на первом этаже старого купеческого дома — одного из немногих в городе, переживших и революцию, и коллективизацию, и лихие девяностые. Внутри пахло корицей и жареными зернами. У стойки стояла девушка его лет, в вязаном свитере и джинсах, с длинной темной косой, переброшенной через плечо.

Анна Шайтанова.

Тимофей узнал ее не по описанию — она не присылала описания, да и не могла, они говорили всего минуту. Но в том, как она стояла — прямая спина, чуть наклоненная голова, будто она прислушивается к чему-то, что другие не слышат, — было что-то не городское, таежное. Как у оленя на водопое.

— Здравствуйте, — сказал он, подходя.

Она повернулась, и Тимофей увидел ее лицо — скуластое,

с раскосыми глазами цвета темного янтаря и губами, сжатыми в тонкую, почти суровую линию. Она была красива той красотой, которую не показывают в глянце — колючей, настороженной, опасной.

— Вы пришли, — сказала Анна. Без удивления. Будто знала, что он придет, и не сомневалась ни секунды.

— Вы оставили мне мало выбора.

— Выбор есть всегда. Просто иногда он приводит в кофейню.

Она жестом пригласила его к столику у окна. Села напротив, заказала чай — черный, с брусникой. Тимофей молчал, рассматривая ее лицо, пытаясь угадать — кто она? этнограф? журналистка? сотрудник того самого «Объекта Сосьва», о котором он прочитал ночью?

— Я из НИИ культурного наследия, — сказала Анна, будто прочитав его мысли. — Фольклорная группа. Последние три года я собираю легенды верхне-сосьвинских манси. Сказки, песни, ритуальные тексты. В процессе наткнулась на историю, которая не вписывается ни в одну классификацию.

— Какую историю?

— Об объекте, куда в шестидесятых годах советское правительство свозило детей из стойбищ. Якобы в интернаты. На самом деле — на эксперименты.

Сердце Тимофея пропустило удар. Он сжал кружку с чаем так сильно, что побелели костяшки пальцев.

— Моя мать была там, — сказал он. Это не было вопро-

сом.

Анна кивнула.

— И не только она. Там был еще один человек. Точнее, девочка. Ее звали Айвика. И, Тимофей, похоже, что она — причина всех ваших приступов. И вашего ночного кошмара. И файла на рабочем столе. И гагары, которая пролетела сквозь вашу стену.

— Кто такая Айвика?

— Шаманка. Ребенок-шаманка. Первый за четыреста лет носитель того, что манси называют Самсай — человек с семью душами. Она должна была стать ключом к Торуму — миру духов. Вместо этого она стала ловушкой. И теперь, спустя шестьдесят лет, ловушка раскрывается. А вы, Тимофей, стоите прямо на ее пути.

За окном кофейни мимо проплыла одинокая машина, скрипнули тормоза. Где-то на набережной закричала чайка — истошно, как ребенок.

Тимофей смотрел в янтарные глаза напротив и понимал, что еще минуту назад у него была обычная жизнь. Скучная. Понятная. Работа, нейросеть, редкие приступы, которые он объяснял генетической мутацией.

А теперь у него была мать, пропавшая на тридцать пять лет. Девочка-шаманка. Мир духов. И женщина с косой, которая знала про него больше, чем он сам.

— С чего вы взяли, что я поверю в эту чушь? — спросил он.

Анна улыбнулась — одними губами, не глазами. Вынула из кармана телефон, нашла фотографию, повернула экраном к Тимофею.

На снимке было лицо. Женское. Молодое. С прямыми темными волосами и глазами, которые Тимофей видел сегодня уже дважды — сначала на архивной фотографии, потом в зеркале.

— Ваша мать, — сказала Анна. — Снимок сделан в девяносто восьмом, за два месяца до ее исчезновения. На обороте она написала адрес. Не свой. Ваш. Тот, где вы живете сейчас. И еще фразу: «Тимофей, ищи орнамент. Остальное найдет тебя само».

Тимофей взял телефон дрожащими пальцами. Увеличил изображение. В углу фото, там, где обычно ставят дату, была закорючка — символ, который он узнал.

Ромб. Два треугольника. Семь точек.

Тот самый узор. На пеленке. На схеме в деле. На ночной стене, когда по ней струились знаки.

— Айвика, — прошептал он. — Кто ты?

— Я? — переспросила Анна. — Я — никто. Просто человек, который умеет слушать. А вот Айвика... Айвика — это ветер в проводах. Песня в костях. Она не умерла, Тимофей. Она просто научилась быть везде.

Гул в голове стал оглушительным.

Тимофей закрыл глаза и в темноте увидел гагару. Она сидела на ветке старого кедра, а кедр рос прямо из середины

Иртыша, и вода под ним была черной, как нефть.

Птица раскрыла клюв и запела.

Он открыл глаза. Анна смотрела на него без удивления — пристально, спокойно, как смотрят на человека, который только что подтвердил то, что и так было известно.

— Начинается, — сказала она.

За окном кофейни потемнело, хотя до вечера было еще далеко.

И Тимофей понял, что не спит. Не галлюцинирует. Не видит сон.

Он просто впервые за двадцать девять лет оказался там, где должен был быть.

И это было страшнее любых приступов.

Глава 2. Полковник с оленьими глазами

Кофейня «Обь» опустела за три минуты.

Сначала погас свет над барной стойкой — не перегорела лампа, просто погасла, будто кто-то выключил рубильник. Потом замолчала музыка — та самая бесконечная, бессмысленная попса, которая играла здесь всегда, превращаясь в белый шум для посетителей. Потом, словно по команде, все четыре столика, кроме их, одновременно освободились. Люди уходили неспешно, без паники, даже не до конца осознавая, что уходят. Просто допивали кофе, подхватывали сумки, выходили на набережную — и не возвращались. Бариста за стойкой, парень с татуировкой дракона на предплечье, ис-

chez в подсобке и почему-то не вышел обратно.

Тимофей огляделся. За окном потемнело — не просто пасмурное утро, а глубокая, почти ночная тьма, какая бывает перед грозой на Среднем Урале, когда небо становится свинцовым, а воздух — тяжелым, как мокрая вата. Но грозы не было. Не пахло озоном, не гремело, не сверкало.

— Это вы сделали? — спросил Тимофей. Голос прозвучал хрипло, будто он не говорил несколько дней.

Анна не ответила. Она смотрела в окно, и ее скуластое лицо было неподвижным, как маска. Только глаза двигались — быстро, внимательно, выхватывая из темноты что-то, чего Тимофей не видел.

— Нам нужно уходить, — сказала она наконец. — Сейчас.

— Куда?

— Неважно. Просто встаньте и идите за мной. Не оглядывайтесь. Не разговаривайте ни с кем, кроме меня. И ничего не трогайте.

Тимофей хотел спросить «почему», но не спросил. Слишком много странного случилось за последние восемь часов. Слишком много дверей открылось туда, куда он не собирался входить. И в каждой новой фразе Анны было что-то, от чего его тело слушалось лучше, чем мозг. Ноги поднялись сами. Руки сунули ключи в карман. Он даже чай допил — машинально, не чувствуя вкуса.

Анна уже стояла у выхода, накинув на плечи выдавшую виды парку из темно-зеленого брезента. Тимофей догнал ее,

и они вышли на набережную вместе.

Тьма была не просто темнотой. Это была субстанция — плотная, почти осязаемая, похожая на дым, только холодный. Тимофей чувствовал, как она обволакивает лицо, забирается под воротник свитера, липнет к ресницам. Фонари вдоль набережной горели — но их свет не простирался дальше двух метров от столба, упираясь в черную стену и гаснув.

— Что происходит? — прошептал Тимофей.

— Они знают, что вы проснулись, — так же тихо ответила Анна.

— Кто — они?

— Те, кто следил за объектом все эти годы. Вы думали, КГБ распустили в девяносто первом? КГБ не распускают. Его переименовывают. Третье отделение пятого управления никогда не закрывалось. Просто сменило вывеску. Теперь они называются Межведомственный центр биофизических исследований — МЦБИ. Звучит почти гражданственно, правда?

Они быстро шли вдоль парапета. Иртыш справа был не виден — только смутное шевеление черного на черном, и где-то там, в этой крошечной мгле, вода текла своей чередой, равнодушная к человеческим страхам.

— И что им от меня нужно?

Анна остановилась. Резко, будто наткнулась на невидимую стену. Повернулась к Тимофею, и в свете умирающего фонаря он увидел, что ее лицо изменилось. В нем появилось

что-то новое — не страх, нет, скорее злость. Холодная, расчетливая злость северной женщины, которую обманули в последний раз.

— Не от вас, — сказала она. — От ваших генов. От той самой седьмой души, которая спит в вашей ДНК и ждет, когда ее разбудят. Вы думаете, ваша мать просто так исчезла? Вы думаете, я просто так нашла вас через фольклорные архивы? Тимофей, вас искали двадцать восемь лет. И я не единственная, кто искал.

— Кто еще?

— Вон они, — сказала Анна и кивнула куда-то в темноту.

Тимофей проследил за ее взглядом и сначала ничего не увидел. Только тьма. Потом тьма сгустилась в одном месте, превратилась в силуэт. Силуэт рос, обретал черты — сначала широкие плечи, потом тяжелую голову, потом руки, висящие вдоль туловища как плети.

Человек. Нет — двое. Трое. Пятеро.

Они выходили из темноты, как деревья из тумана, и их было не меньше десятка. Все в одинаковой униформе — черные куртки без знаков отличия, черные брюки, черные ботинки с толстой подошвой. Лица скрывали балаклавы, но Тимофей почему-то был уверен, что под балаклавами нет ничего человеческого. Глаз он не видел — только черные провалы, в которых угадывался взгляд.

— Не двигайтесь, — прошептала Анна. — И молчите.

Она сделала шаг вперед, закрывая Тимофея собой. В ее

руке вдруг оказался нож — не кухонный, не охотничий, а странный, с изогнутым лезвием, похожим на полумесяц. На рукояти поблескивали металлические бляшки, и на них Тимофей разглядел тот же узор — ромбы, треугольники, семь точек.

— Уйди, Анна, — сказал один из черных. Голос был мужской, низкий, с металлической ноткой, будто говоривший был отчасти машиной. — Нам нужен только субъект.

— Субъекта зовут Тимофей Ильич Собянин, — ответила Анна, и ее голос звучал спокойно, даже скучающе. — Он кандидат биологических наук, специалист по палеогенетике, и он не ваш субъект. Проваливайте.

— Это приказ.

— А это — бубен, — сказала Анна и подняла левую руку.

Тимофей только сейчас заметил, что на ее поясе висит небольшой бубен — не шаманский, тот, который у Анны был в машине, а совсем маленький, размером с ладонь, сплетенный из бересты и кожи. Она ударила по нему пальцем — раз, другой, третий. Звук был негромким, даже жалким — так стучит сухая ветка по стеклу.

Но черные отшатнулись.

Они отшатнулись все разом, как единый организм, и в этом синхронном движении не было ничего человеческого. Скорее — механического. Или звериного.

— Что это? — спросил Тимофей.

— Частота, — ответила Анна, продолжая бить в бубен.

— Низкая, два герца. Те, кто прошел через эксперименты на Сосьве, не переносят два герца. Это бьет по нейронным интерфейсам.

— Нейронным чему?

— Вживят, — коротко бросила Анна. — Бежим.

Она схватила Тимофея за руку и дернула в сторону, прочь от набережной, в узкий переулок между старыми купеческими домами. За спиной послышались шаги — тяжелые, быстрые, нечеловечески ритмичные. Черные преследовали, но пока не настигали.

Они бежали по мосткам через пересыхающий ручей, потом по лестнице вверх, потом снова вниз, и Тимофей перестал понимать, где находится. Город исчез. Исчезли дома, фонари, асфальт. Они бежали по какой-то заброшенной промышленной зоне — ржавые контейнеры, битое стекло, запах гниющей рыбы.

— Сюда! — крикнула Анна и нырнула в проем полуоткрытых ворот.

Тимофей заскочил следом, споткнулся о порог, упал на колени. Захлопнул ворота. Внутри было темно, пахло старым деревом и еще чем-то сладковатым, тошнотворным.

— Тишина, — прошептала Анна.

Они замерли. Шаги снаружи стихли — не ушли, просто остановились. Тимофей слышал, как черные дышат — неглубоко, часто, будто у них легкие не такие, как у людей. Или будто они не дышат вообще, а имитируют дыхание.

Минута. Две. Пять.

Анна медленно опустилась на корточки, прижала палец к губам, потом указала куда-то вглубь помещения.

Тимофей осторожно встал, отряхнул колени. Глаза привыкли к темноте, и он понял, что они находятся в старом рыбном складе. Ржавые крюки на потолке, бетонный пол, покрытый слоем жира и чешуи, в углу — груды списанных сетей. Воздух здесь не двигался, и сладковатый запах становился все сильнее.

— Что это за вонь? — прошептал Тимофей.

— Формальдегид, — ответила Анна. — Здесь когда-то хранили рыбу для отправки на юг. Наверху — холодильные камеры. Сейчас они не работают, но запах остался навсегда. Как память.

Она достала телефон, включила фонарик. Свет вырвал из темноты длинный коридор с дверями по бокам. На одной из дверей Тимофей заметил табличку, написанную от руки синим фломастером: «Не входить. Биологическая опасность».

— Пойдем, — сказала Анна и направилась к этой двери.

— Вы уверены?

— Нет. Но другого выхода нет. Черные заблокировали все нормальные. Они не дураки, Тимофей. Они знают этот город лучше, чем вы — собственную квартиру.

Она толкнула дверь, и та открылась с протяжным скрипом, похожим на стон. За ней оказалась маленькая комнатка — бывшая диспетчерская. Стол, стул, древний компьютер с

кинескопным монитором, на стене — расписание отправок 1998 года, пожелтевшее, с пятнами масла. И человек.

Человек сидел на стуле, положив руки на стол.

Тимофей сначала подумал, что это труп. Лицо было серым, щеки впалыми, глаза закрыты. Но потом человек пошевелился — медленно, с трудом, как марионетка, у которой обрезали половину нитей.

— Не бойтесь, — сказала Анна. — Это Матвей Степанович. Сторож. Он всегда здесь. Он ничего не скажет черным.

Старик открыл глаза. И Тимофей понял, почему Анна сказала «не бойтесь» — потому что бояться действительно было нечего. Бояться было поздно. У Матвея Степановича были глаза оленя — большие, влажные, темно-карие, почти черные, без белков. Таких глаз не бывает у людей. Такие глаза бывают у животных, которые знают, что их убьют, но все равно продолжают смотреть.

— Здравствуй, Анна, — прошептал старик. Голос скрипел, как несмазанная дверь. — А это кто с тобой? Неужто нашел?

— Нашел, Матвей Степанович. Тимофей Собянин. Сын Ирины.

Старик медленно кивнул. Протянул руку — костлявую, с длинными желтыми ногтями — и коснулся плеча Тимофея. Пальцы были холодными, как лед, но в этом прикосновении было что-то древнее, почти сакральное.

— Сынок, — сказал Матвей Степанович. — А ты знаешь,

что твоя мать тебя на бересте зашифровала?

— Что? — переспросил Тимофей.

— Зашифровала. Твой ген, твою дату рождения, твое имя. В орнаменте. На пеленке, которую я ей дал. Я тогда работал на объекте столяром, пеленки из целлюлозы делал, особой пропитки. Она пришла ко мне за день до эвакуации и сказала: «Матвей, вырежи узор, какой я нарисую. Никому не показывай. Отдашь моему сыну, когда он вырастет». Я и отдал. Через тридцать лет отдал. В интернат принес, когда тебе пять лет было. Помнишь?

Тимофей молчал. Он не помнил. Он помнил, как в интернате появилась пеленка — просто лежала в тумбочке однажды утром, никто не принес, никто не передал. Воспитатели сказали, что это из дома. Из какого дома — никто не уточнил.

— Вы работали на объекте? — спросил он наконец.

— Сорок лет, — сказал Матвей Степанович. — С шестьдесят третьего по две тысячи третий. Пока не закрыли. Я там столярил, мебель делал, клетки для подопытных. Не для животных, сынок. Для людей. Для детей.

— Каких детей?

— Мансийских. Хантыйских. Ненецких. Привозили со всей Югры. Говорили — интернат, школа-интернат. А на деле — лаборатория. Изучали, как душа из тела выходит. И как обратно заходит. Твоя мать этим занималась — генетикой душ. Смешно, да? Коммунисты, атеисты — а душу искали.

Кремлевским нейдет было, все хотелось вечную жизнь отмотать. А душа — она не вечная, сынок. Она просто... другая. Не такая, как тело.

Старик замолчал, закашлялся — глухо, надрывно, так кашляют курильщики с сорокалетним стажем. Тимофей ждал. Анна стояла у двери, вслушиваясь в тишину коридора.

— Вы знали Айвику? — спросил Тимофей.

Матвей Степанович перестал кашлять. Глаза его, оленьи глаза, расширились, стали еще больше, еще чернее.

— Не надо, — прошептал он. — Не произноси это имя. Не здесь.

— Почему?

— Потому что она слышит. Она все слышит, сынок. Айвика не умерла и не ушла. Она в проводах. В трубах. В вентиляции. В каждом звуке частотой два герца. И когда она слышит свое имя, она... приходит.

— Кто она? — Тимофей повысил голос, хотя понимал, что не надо. — Девочка? Дух? Что?

— Не знаю, — ответил старик. — Никто не знает. Даже те, кто ее создавал. Айвика — это не эксперимент. Это ошибка. Ошибка, которая научилась размножаться. И теперь вы, Тимофей Ильич, — ее последняя надежда. Или последняя жертва.

За дверью послышались шаги.

Анна вздрогнула, прижала палец к губам. Свет фонарика она выключила, и комната погрузилась в непроглядную

тьму.

Шаги приближались. Тяжелые, ритмичные. Черные.

— Они нашли нас, — прошептала Анна.

— Нет, — так же тихо ответил Матвей Степанович. —

Они нашли меня. А вы сидите тихо.

Старик встал со стула — медленно, с кряхтением, будто каждое движение давалось ему через боль. Подошел к двери, вышел в коридор, притворил дверь за собой. Тимофей слышал, как он говорит с черными — неразборчиво, но спокойно, почти весело. И как черные отвечают — отрывисто, грубо.

Потом — хлопок. Не громкий, приглушенный, как если бы кто-то ударил ладонью по сырому тесту.

Потом — тишина.

Анна открыла дверь. Выглянула. Выдохнула.

— Можете выходить, — сказала она. — Он отдал им свой резонатор.

— Что?

— У Матвея Степановича был вживлен чип. Как у всех, кто работал на объекте. Черные сканируют чипы. Он вышел к ним, они считали его чип — и ушли. Думают, что нашли нужного человека. А нужный человек — вы.

Тимофей вышел в коридор. Пол был бетонным, холодным, и на нем, в полуметре от двери, валялась маленькая металлическая пластинка — похожая на старую монету, только без герба и цифр. Рядом с пластинкой — капля крови.

Матвея Степановича не было.

— Они его убили? — спросил Тимофей.

— Они его забрали, — поправила Анна. — Для него это хуже. На объекте он проживет еще лет десять. В камере. С постоянным сканированием. Два герца, два герца, два герца. Он сойдет с ума через месяц.

— Зачем вы привели меня сюда?

— Чтобы вы поняли. Цена ошибки — не ваша жизнь. Цена ошибки — жизнь тех, кто вас укрывает. Я рисковала. Матвей Степанович рисковал. Если вы сейчас развернетесь и уйдете — к Громову, к черным, к кому угодно — вы подпишете нам приговор. Не себе. Нам.

Тимофей смотрел на каплю крови. Она уже застывала, превращалась в темную, почти черную чечевицу.

— Кто такой Громов? — спросил он.

— Полковник запаса. Куратор возрожденного «Объекта Сосьва». Тот, кто прислал вам вчера файл на рабочий стол. Тот, кто знает про вашу мать больше, чем вы. И тот, кто хочет, чтобы вы пришли к нему добровольно.

— А вы хотите, чтобы я не приходил?

— Я хочу, чтобы вы сами решили. Но прежде чем решить, вы должны узнать правду. Всю правду. А она, Тимофей, не в архивах КГБ и не в нейросетях. Она в тайге. На Верхней Сосьве. В том месте, где ваша мать в последний раз была человеком.

Анна посмотрела на часы — старые, механические, с ци-

ферблатом, на котором вместо цифр были нарисованы оленьи рога.

— У нас есть два часа, — сказала она. — Потом черные поймут, что чип Матвея Степановича не тот, что им нужен, и вернутся. За это время я должна вывезти вас из города.

— Куда?

— На север. В поселок Саранпауль. Там живет последний шаман, который помнит Айвику живой.

— А если я откажусь?

Анна посмотрела на него долгим, тяжелым взглядом. В ее глазах — янтарных, глубоких — отражался тусклый свет единственной лампочки под потолком.

— Тогда я оставлю вас здесь, — сказала она. — И черные найдут вас через час. Вы подпишете бумаги, согласитесь на «медицинское обследование», и проснетесь через месяц на объекте, с чипом в затылке и с вопросами, на которые никто не ответит. Ваша мать выбрала этот путь. Вы хотите его повторить?

Тимофей молчал.

В голове гудело — не громко, но настойчиво, как комар над ухом. Гул был знакомым. Приступ приближался, но не для того, чтобы погрузить его в кошмар. Чтобы что-то подсказать.

Он закрыл глаза и снова увидел гагару. Птица сидела на спинке стула, на котором минуту назад сидел Матвей Степанович. И в клюве у нее была берестяная грамота — та самая,

№ 147, с узором, который «Угра-13» расшифровала как «код для подавления эпилептиформной активности».

«Ты — берестяной лист, — сказала гагара. — Тебя свернут. Но не сегодня».

— Я еду с вами, — сказал Тимофей, открывая глаза.

Анна кивнула. Никакой радости, никакого облегчения. Только спокойная, суровая готовность делать то, что должна.

— Тогда идем. Машина у черного хода.

Они вышли из рыбного склада через заднюю дверь, туда, где ржавые контейнеры стояли в три ряда, образуя узкий коридор. Машина Анны — старый «УАЗ», грязный, с отваливающимся куском грязи на дверце — ждала у последнего контейнера. Анна села за руль, Тимофей — на пассажирское сиденье.

— Пристегнитесь, — сказала она. — Дорога будет долгой.

— Я никогда не был в Саранпауле.

— Увидите. Там красиво. Леса, реки, горы. И люди, которые помнят, что такое быть свободным.

Она завела двигатель. «УАЗ» чихнул, кашлянул, но завелся — с третьей попытки, как и положено старой военной технике. Фары выхватили из темноты кусок разбитой дороги, ведущей к выезду из города.

— Анна, — сказал Тимофей. — А почему вы помогаете мне? Вы меня не знаете. Мы виделись первый раз в жизни. А вы уже рискуете свободой, а может, и жизнью.

Анна не ответила сразу. Она вырулила на трассу, пере-

ключила передачу, только потом сказала, глядя прямо на дорогу:

— Потому что ваша мать спасла мою бабушку. В шестьдесят четвертом. Когда объект горел. Она вывела ее через подземный ход, застрелила двух охранников из трофейного вальтера. Моя бабушка была тогда подростком, одной из подопытных. Она умерла в девяностом, но перед смертью взяла с меня слово: «Если найдешь сына Ирины, помоги ему. Чем сможешь».

— А если я не захочу помогать?

— Вы уже захотели. Иначе не сели бы в эту машину.

Они выехали из города. За окном потянулся бесконечный, однообразный пейзаж: лес, болото, лес, еще одно болото. Небо постепенно светлело — тьма отступала, но не исчезала, а сжималась в одну маленькую, плотную точку где-то на западе, там, где остался Ханты-Мансийск.

Тимофей достал телефон. Связи не было — то есть она была, но только для экстренных вызовов, как сообщала плашка в углу экрана. Он открыл галерею, нашел фотографию, которую успел сделать ночью — скан личного дела матери.

Ирина Собянина. Двадцать пять лет. Взгляд прямо в объектив.

«Ты была там, — подумал Тимофей. — Ты видела это всё. Менквов. Портал. Девочку-шаманку. И ты вышила мне карту на пеленке, чтобы я не потерялся».

Машина неслась по разбитой трассе. В салоне пахло бензином, старой кожей и еще чем-то едва уловимым — можжевельником, что ли. Или багульником.

— Расскажите мне об Айвике, — попросил Тимофей. — Всё, что знаете.

Анна помолчала. Потом начала рассказывать — тихо, размеренно, как читают сказку детям перед сном, только сказка эта была страшной и правдивой.

Она рассказывала о девочке, которую нашли в стойбище на Верхней Сосьве в 1958 году. О шамане, который сказал советским чиновникам: «Не берите ее, она не ваша». О том, как чиновники не послушали. О том, как Айвику везли в Ханты-Мансийск в закрытой машине, а она всю дорогу смеялась и смотрела в щель между шторками.

О том, как на объекте ее били током, кололи неизвестными препаратами, заставляли смотреть на вспышки света в такт бубну. О том, как однажды она посмотрела на лаборанта и тот упал замертво — без единого внешнего воздействия, просто сердце остановилось.

О том, как в 1963 году Айвика исчезла. Растворилась в воздухе. А через минуту в коридорах объекта завывали сирены, и все электронные часы показали одно и то же время: 23:23, хотя на улице был день.

— После ее исчезновения объект не закрыли, — сказала Анна. — Наоборот, его расширили. Потому что ученые поняли: Айвика не ушла. Она осталась. И теперь каждый, у ко-

го есть ее генетический маркер, может стать новым порталом.

— У меня есть этот маркер, — сказал Тимофей. Не спросил — утвердил.

— Да. И не только у вас. Но вы — единственный, кто дожил до взрослого возраста. Остальные умирали в детстве. От судорог. От остановки сердца. От того, что их мозг просто... переставал работать. А вы — живы. И ваша эпилепсия — это не болезнь, Тимофей. Это ваш мозг пытается настроиться на частоту 2 Гц. И иногда у него получается.

— И что будет, когда он настроится окончательно?

Анна резко повернула руль, объезжая яму на дороге. «УАЗ» качнуло, и на мгновение Тимофею показалось, что они сейчас перевернутся. Но машина выровнялась, продолжила путь.

— Когда вы полностью настроитесь, — сказала Анна, — вы перестанете быть Тимофеем Собяниным. Вы станете ключом. И любой, у кого есть бубен и знание ритуала, сможет открыть через вас дверь.

— В Торум?

— В никуда. В пустоту между мирами. Туда, где нет времени, нет пространства, нет ничего, кроме голосов тех, кто туда попал раньше. Ваша мать, кстати, была там. Тридцать пять лет, как написано в деле. Но для нее эти тридцать пять лет пролетели как один день. А когда она вернулась, у нее уже был ты.

Тимофей отвернулся к окну. За стеклом бесконечно тянулся лес — сосны, лиственницы, редкие березы с облетевшей листвой. Осень вступала в свои права медленно, но верно, и где-то там, за горизонтом, уже лежал первый снег.

— Куда мы едем точно? — спросил он.

— В стойбище моей бабушки, — ответила Анна. — Это в ста пятидесяти километрах от Саранпауля, на реке Сосьва. Там живет старик Юван. Ему девяносто семь лет. Он был учеником того шамана, который предупреждал про Айвику. Он знает ритуал, который может закрыть портал навсегда. Или открыть его правильно. Но он согласится говорить только с вами.

— Почему со мной?

— Потому что вы — сын Ирины. А Ирина была для него как дочь. Она выучила мансийский язык за три месяца, научилась играть на бубне, ходила с ним в тайгу за кедровыми орехами. Она не была манси по крови, но была манси по духу. И когда она пропала, он дал себе клятву: дожидаться ее ребенка.

— Сорок лет ждал?

— Он манси, — сказала Анна, как будто это объясняло всё. — Они умеют ждать. Они ждали, когда русские перестанут нападать, триста лет. Еще сто лет подождут.

Она замолчала. Тимофей тоже молчал, глядя на лес.

Гул в голове утих, но не исчез совсем. Он превратился в ровный, едва различимый фон — как работающий в сосед-

ней комнате холодильник. Тимофей знал, что это не просто звук. Это память. Не его — чужая, вживленная в его гены, как тот самый орнамент, который вышила мать.

«Ты — берестяной лист».

Он больше не боялся этих слов. Он просто принял их, как принимают неизлечимую болезнь. Или как принимают судьбу.

«УАЗ» ехал на север. Черная точка на западе исчезла, растворилась в сером, осеннем небе. Город остался позади. Впереди была тайга.

А в тайге, как говорила Анна, жила правда.

Или смерть.

Тимофей Собянин был готов и к тому, и к другому.

Глава 3. Фольклористка и пепел менква

Они ехали уже шесть часов, когда лес начал меняться.

Тимофей заметил это первым — не потому, что был внимательнее Анны, а потому, что его гул, этот проклятый фоновый гул в черепе, вдруг изменил тональность. С ровного, монотонного гудения он перешел в едва уловимую пульсацию. Как сердцебиение. Как бубен, только очень далекий.

— Что происходит с деревьями? — спросил он.

Анна скосила глаза на обочину. «УАЗ» подпрыгивал на кочках, и её профиль — скуластый, с резкой линией подбородка — то появлялся, то исчезал в тенях.

— А что с ними?

— Они ровные. Слишком ровные. Посмотри.

И правда: лес за окном больше не походил на обычную тайгу, где деревья растут вкривь и вкось, где каждое борется за свет, стволы искривлены, корни вылезают наружу. Здесь сосны и лиственницы стояли как солдаты на параде — стройными рядами, на одинаковом расстоянии друг от друга. Между ними не было кустарника, не было валежника, даже трава казалась прибитой к земле, будто кто-то прошелся по лесу гигантским утюгом.

— Это не лес, — тихо сказала Анна. — Это граница.

— Граница чего?

— Его владений. Он не любит, когда в его лес заходят без спроса.

— Кто — он?

Анна не ответила. Она сбросила скорость, и «УАЗ» затарахтел едва слышно, будто тоже испугался. Дорога, и без того паршивая, превратилась в две колеи, уходящие в чащу. Справа и слева от них стояла тишина — не лесная, с щебетом птиц и шорохом мышей, а мертвая, вакуумная, какая бывает в звукоизолированной студии.

— Анна, — Тимофей повысил голос, потому что тишина давила на уши. — Кто он?

— Менкв, — сказала Анна. — Дух-хранитель этой части тайги. Их много в этих местах, но этот — старый. Очень старый. Он был здесь еще до того, как первые люди пришли на Урал.

— Вы верите в духов?

— Я верю в то, что видела. А видела я, Тимофей, такое, что ваша наука объяснила бы термином «массовая галлюцинация». Но когда у двадцати трех человек одновременно случается массовая галлюцинация, и все они описывают одно и то же существо — четыре метра ростом, из корней и оленьих рогов, — тогда, знаете, начинаешь сомневаться в терминах.

Тимофей хотел спросить ещё, но не успел.

Лес кончился.

Не постепенно, не редколесьем, не вырубкой — а резко, как обрезанный ножом. Вместо деревьев перед ними расстилось болото. Не торфяное, не моховое — какое-то странное, черное, с маслянистыми лужами, в которых отражалось низкое осеннее небо. Посреди болота, на единственном сухом пятачке, стояла изба.

Не дом, не чум, не зимовье — изба. Настоящая, рубленая, с наличниками, с резным коньком на крыше, с маленьким окошком, затянутым бычьим пузырем вместо стекла. Такие избы Тимофей видел только в музеях деревянного зодчества. Но эта не была музейной. Из трубы шел дым — тонкий, почти прозрачный, но живой. Внутри кто-то был.

— Мы приехали, — сказала Анна и заглушила двигатель.

Тишина стала полной. Даже «УАЗ» не скрипел остывающим металлом. Даже ветер не шевелил редкие кустики на краю болота. Тимофей открыл дверцу, вышел на поднож-

ку, и нога увязла в чем-то мягком, податливом. Он посмотрел вниз. Под ногами был не мох, не трава, не грязь — пепел. Тонкий, серебристо-серый пепел, покрывавший землю на метр вокруг машины.

— Не ходите по пеплу, — сказала Анна, вылезая с другой стороны. — Это не пепел.

— А что?

— Это он. Или то, что от него осталось. Менквы не умирают, Тимофей. Они просто... рассыпаются. И ждут. Когда придет время, они соберутся обратно.

Тимофей отдернул ногу, будто обжегся. Пепел был холодным, но ощущение было именно таким — ожоговым. Будто он наступил не на землю, а на чью-то память, которую не следовало тревожить.

Анна обошла машину, достала из багажника рюкзак — старый, армейский, с выцветшими лямками. Повесила на плечо, повела подбородком в сторону избы.

— Идемте. Юван ждет.

— Откуда он знает, что мы приедем? — спросил Тимофей, хотя уже догадался.

— Он шаман, — сказала Анна. — Они знают такие вещи. Не спрашивайте как.

Они пошли к избе по узкой тропинке — не больше тридцати сантиметров шириной, едва заметной среди пепла. Анна шла впереди, Тимофей за ней, стараясь ступать точно в ее следы. Пепел под ногами не хрустел, не скрипел — он взды-

хал, как живой, и от каждого шага над тропинкой поднимались маленькие серые облачка.

Изба приближалась. Теперь Тимофей различал детали — наличники были украшены резьбой, и это была не простая геометрия, а те самые орнаменты. Ромбы. Треугольники. Семь точек. Он узнавал их уже безошибочно, как свое имя. Окно, затянутое пузырем, тускло отсвечивало — изнутри падал слабый, желтоватый свет, похожий на свет керосиновой лампы.

Анна постучала. Три удара — два коротких, один длинный.

Дверь открылась не сразу. Сначала за ней кто-то долго возился — шаркал, кряхтел, перебирал засовы. Тимофей уже начал думать, что старик немощен и не может открыть, но потом дверь медленно, с протяжным скрипом, подалась внутрь.

На пороге стоял человек, которого невозможно было описать словами.

Он был очень старым — Тимофей не умел определять возраст манси, у них лица были другие, не подверженные той сетке морщин, которая выдает европейских стариков, но здесь возраст читался в позе. В том, как он держался за косяк. В том, как его глаза — черные-черные, без белков, как у Матвея Степановича, но живые — медленно, очень медленно перебирали лица гостей.

— Шайтанова, — сказал старик. Голос у него был не скри-

пучий, как ожидал Тимофей, а низкий, грудной, почти молодой. — Пришла. А это кто? Неужто Иринын пиет?

Тимофей не понял последнего слова, но Анна перевела шепотом: «Сын Ирины».

— Да, — сказала она. — Тимофей Собянин.

Старик смотрел на Тимофея долго. Так долго, что тот начал чувствовать себя экспонатом в музее. Потом старик медленно поднял руку и коснулся его щеки. Пальцы были сухими, теплыми, с длинными, чистыми ногтями.

— Похож, — сказал он. — На мать. Глаза матери. Упрямство матери. Только кровь отца — горячая, мансийская, не та, что у русских, которая долго закипает. Ты быстро кипишь, Тимофей Ильич. Это хорошо. Нам нужно быстро.

Он отступил, пропуская гостей в избу.

Внутри было тесно, но уютно — по-северному, по-бедному, но с тем особым достоинством, которое бывает только у жилищ, где каждая вещь сделана руками хозяина. Печь-голландка занимала четверть помещения, рядом стоял грубо сколоченный стол, на столе — керосиновая лампа и глиняная кружка. В углу висели пучки трав, пахнувшие горько и сладко одновременно. На стенах — шкуры, не выделанные, а просто высушенные, с сохраненными ушами и лапами. Тимофей насчитал три медвежьих, две лосиных и одну, которую не смог опознать. Слишком крупную для лося, слишком странную по форме.

Юван прошел к столу, сел на лавку, жестом пригласил го-

стей сделать то же самое. Тимофей сел напротив, Анна — рядом. Между ними на столе лежала темная, почти черная берестяная пластина, покрытая письменами.

— Это карта, — сказал Юван, проследив за взглядом Тимофея. — Настоящая карта. Не та, что в музеях. Тут нарисован путь в Торум. Мои предки рисовали ее триста лет назад, когда русские первый раз пришли на Обь. Они думали, что это военная тайна. Нет. Это тайна смерти. И жизни после смерти.

— Вы хотите сказать, — осторожно начал Тимофей, — что эта карта ведет в загробный мир?

— Не в загробный. В промежуточный. Туда, где души ждут перерождения. Ваши ученые назвали бы это четвертым измерением. Я называю это — лес. Только другой лес. Где деревья — из звуков, а звери — из воспоминаний.

Старик замолчал, налил себе из кружки какой-то темной жидкости — не чай, не воду, что-то густое, с запахом коры — и выпил залпом, как водку.

— Твоя мать, — сказал он, ставя кружку. — Ирина. Она пришла ко мне впервые в шестьдесят третьем, за месяц до того, как пропала. Она была ученый, умная, быстрая. Она не верила в духов. Но она верила в то, что видит. А увидела она Айвику.

— Расскажите про Айвику, — попросил Тимофей.

Юван посмотрел на Анну. Та кивнула.

— Айвика, — начал старик, и голос его стал ниже, словно

он опустил в подвал своего тела. — Айвика была необычной. Она родилась с зубами. Это плохая примета. Шаманы говорят: кто родился с зубами, тот будет кусать этот мир. Она начала говорить в шесть месяцев. Ходить — в восемь. А в три года она уже пела такие песни, которые взрослые шаманы поют только на медвежьем празднике, да и то не все.

— Откуда она их знала?

— Ниоткуда. Она их помнила. Не знала — помнила. Будто прожила уже сто жизней до этой. В нашем народе таких называют «самсай» — те, у кого семь душ. У обычного человека их пять. У женщины — четыре. У медведя — шесть. А у самсай — семь. Это дверь. Понимаешь? Дверь между нашим миром и Торумом. Кто контролирует самсай, тот контролирует дверь.

— Советские это поняли, — вставила Анна. — И захотели контролировать.

— Да, — кивнул Юван. — Они пришли в стойбище в пятьдесят восьмом. Сказали, что Айвика талантливая девочка, что в городе для нее школа, что она станет великой певицей или танцовщицей. Родители не хотели отдавать, но что родители могут против калашникова? Увезли. И начали эксперименты.

Старик замолчал. Тишина в избе стала плотной, почти осязаемой. Тимофей услышал, как за стеной скребется мышь — единственный звук, который нарушал вакуум.

— Что они с ней делали? — спросил он.

— Сначала — просто проверяли. Кровь брали, мозги смотрели, на бубне играли, смотрели, как она реагирует. Айвика не боялась. Она смеялась. Спрашивала у лаборантов: «А вы знаете, что ваша бабушка сейчас умирает? Идите, попрощайтесь». Через час тем лаборантам звонили и сообщали, что бабушка умерла. Такое несколько раз было. Люди начали бояться ее. Не как врага — как... как погоду. Как явление. Не злое, не доброе, просто — есть. И не знаешь, что от него ждать.

— Потом, — продолжал Юван, — они начали насильственную активацию. Током. Светом. Звуком. Били два герца — ту частоту, на которой мир между мирами открывается. Айвика кричала. Не от боли — от того, что ей было тесно в теле. Ей нужно было выйти. И однажды она вышла.

— В шестьдесят третьем? — уточнил Тимофей.

— Да. В тот день ваш дед — он тоже работал на объекте, сторожем — принес мне бересту с сообщением. Я пришел к объекту ночью, через лес. Слышал гул. Такой же, как у тебя в голове, Тимофей. Стоял в кустах, смотрел, как из трубы лаборатории вылетает птица. Белая, большая, не похожая ни на одну птицу в наших лесах. Она летела над тайгой и кричала человеческим голосом: «Мама, мама, мама». Это была Айвика. Ее душа. Или то, что от нее осталось.

— А тело?

— Тело осталось в камере. Я видел потом, через стекло. Девочка сидела на полу, живая, целая, но с закрытыми гла-

зами. И улыбалась. А через минуту она исчезла. Просто — исчезла. Растворилась. С тех пор ее никто не видел. Но слышали многие.

— Что слышали?

— Голос. Пение. Шаги в пустой комнате. Два герца в проводах. Айвика не умерла, Тимофей. Она рассыпалась, как менкв. И теперь она везде. В каждом звуке этой частоты. В каждом человеке, у которого есть ее маркер. В тебе.

Тимофей почувствовал, как гул в голове усилился. С пульсации он перешел в настоящую аритмию — то громко, то тихо, то быстро, то медленно, и каждый раз, когда частота менялась, он видел перед глазами вспышки. Не света — цвета. Непонятного, несуществующего цвета, для которого в человеческом языке нет названия.

— Что со мной происходит? — спросил он, сжимая край стола.

— Ты настраиваешься, — ответил Юван. — Твой мозг ищет ту самую частоту. Два герца. Когда найдет — ты тоже сможешь выйти. Или войти. Смотря как посмотреть.

— И что тогда?

— Тогда ты станешь самсай. Как Айвика. Но ты взрослый. Ты сильнее. Ты сможешь закрыть дверь, которую она открыла. Или открыть ее настежь. Или... или что-то третье. Я не знаю. Моя магия заканчивается там, где начинается твоя наука. Но одно я знаю точно: без ритуала ты не справишься. Ритуал тебя удержит. Поможет не потеряться в Торуме.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.